



СЕРГЕЙ МАРКОВСКИЙ

СУПЕР
ПОЗИЦИЯ

18+

Сергей Марковский

Суперпозиция

«Автор»

2026

Марковский С.

Суперпозиция / С. Марковский — «Автор», 2026

Сначала онемела рука. Потом стали тяжелеть веки. Потом язык. Потом он перестал глотать. Потом голова перестала держаться на шее. А сознание всё это время оставалось ясным. Глеб всё слышит, всё понимает и всё помнит. Он знает, что отключится дыхание, и знает, что встретит это в полном сознании. Это хоррор не о змее. Это хоррор о том, каково оказаться запертым в собственном теле, которое выключается этаж за этажом.

Содержание

Пролог. Сорок минут	5
Часть первая. Самый счастливый день	8
Глава 1. Свадьба	8
Глава 2. Две полоски	19
Часть вторая. Сорок минут	27
Глава 3. Стишок	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Суперпозиция

Пролог. Сорок минут

Суббота. Двенадцать часов четырнадцать минут.

Кухня. Батарея горячая — сегодня дали отопление, и она с утра щёлкает и потрескивает, будто внутри у неё кто-то переступает с ноги на ногу. На стене над холодильником мамины часы. Секундной стрелки у них нет. Вместо неё по кругу ходит маленькая жестяная птица, синяя, с облупленным клювом. Шаг — щелчок. Шаг — щелчок.

Глеб стоит на коленях перед пластиковым контейнером.

Контейнер прозрачный, литров на сорок, с крышкой на защёлках. Посередине — перегородка из оргстекла. Старая. Один паз у неё разболтан, и Глеб знает это уже года два, с тех пор как уронил контейнер на кафель. Он подумал об этом полчаса назад, когда пересаживал змей. Подумал и решил: на двадцать минут сойдёт.

Двадцать минут прошли. Таймер на холодильнике пискнул, Глеб вернулся из ванной с мокрыми по локоть руками, ответил Вере, присел.

Перегородка стоит косо.

Обе змеи в левом отсеке.

Они лежат вместе, переплетаясь, как две верёвки, которые кто-то бросил в одну кучу. Красное, чёрное, жёлтое. Красное, чёрное, жёлтое. Кольца поверх колец. Где кончается одна и начинается другая — не понять. Одна голова видна, вторая спрятана под телом.

Глеб не боится. Он двенадцать лет держит змей. Он не боится, он раздражён: на себя, на перегородку, на то, что придётся сейчас разбирать этот клубок, а у него ещё четыре террариума в ванной и обед не готов.

Крюк лежит на подоконнике. Два шага.

Он не встаёт за крюком.

Это даже не решение. Это двенадцать лет привычки и одна секунда лени. Ближняя к нему змея — та, у которой видна голова, — лежит у самой стенки, и он знает, как она лежит, и знает, как брать: за треть тела, мягко, не сжимая. Он снимает крышку. Протягивает левую руку.

Обручальное кольцо ловит свет из окна. Оно ещё непривычное. Вчера он полдня крутил его большим пальцем, проверяя, на месте ли.

Пальцы касаются чешуи. Чешуя тёплая — от батареи. Сухая, гладкая, как бусины на нитке.

Под ней что-то двигается.

Щипок.

Короткий. Почти вежливый. Как если бы кто-то в толпе тронул его за руку, чтобы спросить дорогу. На тыльной стороне кисти, у основания безымянного пальца, в сантиметре от кольца. Там, где под кожей синее вена.

Глеб отдёргивает руку.

Не больно. Совсем. Он смотрит на кисть, потом на контейнер. Змеи шевелятся, расплетаются, медленно, без всякой спешки. Теперь видны обе головы. Обе маленькие, тупые, чёрные. Обе — с жёлтым воротником за головой. Обе в кольцах: красное, чёрное, жёлтое.

Две одинаковые змеи.

Одна из них — Сметана. Гондурасская молочная змея. Неядовитая. Кличку ей дала Вера. Вера говорит ей «привет, дурочка», когда проходит мимо террариума, и это единственная змея, мимо которой Вера проходит, не ускоряя шаг.

Вторая — техасский аспид. Без клички. Аспидам Глеб клички не даёт.

Одна из них только что его укусила.

Глеб сидит на полу. Батарея за спиной дышит жаром. Птица на часах шагает: щелчок, щелчок. Где-то за стеной сверлят — коротко, с паузами, кто-то вешает полку. С улицы, с моста, долетает гудок, длинный, раздражённый, как у всех, кто стоит в субботней пробке.

Он смотрит на кисть.

Две точки. Совсем крошечные, как от булавки. Между ними — пара миллиметров. Пока даже крови нет. Потом выступает одна капля, тёмная, круглая, и замирает, как будто тоже думает.

Он наклоняется к контейнеру. Близко, слишком близко, лицом к самой крышке, которую сам же только что снял. Он хочет увидеть, у какой из них открыт рот. У какой на губах кровь. Его кровь.

Ни у какой. Обе пробуют воздух языками, быстро, раздвоенно, как будто им тоже интересно, что тут случилось. Одна поворачивает голову к его лицу. Вторая уходит под первую, медленно, кольцо за кольцом, и снова не разобрать, где чья голова, где чей хвост.

Глеб смотрит на них и не дышит. Он ждёт, что одна из них как-нибудь выдаст себя. Что виноватая будет выглядеть виноватой.

Змеи не выглядят никак.

На столе загорается телефон. Глеб видит экран краем глаза. Минуту назад он сам поставил там сердечко под Вериным сообщением: «Скоро буду. Люблю вас обоих». Теперь там уведомление из доставки: «Суббота — день пиццы! Скидка 20% до 15:00». Экран гаснет.

Из ванной слышно, как капает кран. На краю раковины, на бумажном полотенце, рядом с Вериной зубной щёткой лежит тест. Две полоски. Глеб утром трижды ходил на него смотреть. Просто так. Посмотреть и выйти.

Так.

Так. Так. Так.

Он думает очень ясно. Это его пугает больше всего: он думает ясно, отчётливо, длинными связными мыслями, словно ничего не случилось. Он думает: у аспиды короткие неподвижные зубы. Аспиду надо жевать, чтобы впрыснуть яд. Аспид часто кусает «сухо». Молочная змея тоже может цапнуть — с перепугу, от тесноты, от чужой руки. Молочные кусают часто. Аспиды — редко.

Он думает: это могла быть любая.

Он думает: если это Сметана, через два часа он будет смеяться. Расскажет Лёве. Лёва скажет: «Ну ты кретин». Вера никогда не узнает.

Он думает: если это аспид, то он не помнит, сколько у него времени.

Нет. Помнит. Он читал. Тысячу раз читал, на английском и на русском, на форумах, в отчётах, в статьях, куда ходил как в музей восковых фигур — посмотреть на чужое и выйти. При укусе в вену — от получаса до часа, писал кто-то, кто, может, и не знал ничего. Где-то были истории про двенадцать часов без симптомов. Где-то — про двадцать минут. Цифры прыгают в голове, насакивают друг на друга, ни одна не держится.

Шестьдесят — это если повезёт. Тридцать — если нет.

Тридцать он поставить не может. Рука не поднимется поставить тридцать.

За окном мост. Серый, длинный, на восьми опорах. Глеб три года своей жизни отдал его реконструкции, он знает каждый шов, каждую тягу, знает, где под асфальтом идёт трещина, которую залили в прошлом августе. Сейчас на мосту ремонт полосы, оранжевые конусы, кран, и машины стоят в две нитки от берега до берега. Ничего не движется. Солнце блестит на крышах, как на чешуе.

Глеб думает: если звонить, то сейчас. Он думает: сначала таймер. Он не знает, почему сначала таймер. Может быть, потому, что таймер — это число, а с числом можно работать. Нагрузка, допуск, запас прочности. Число — это то, что у него всегда получалось.

Он встаёт. Колени не держат, он хватается за край стола. Белый кухонный таймер висит на холодильнике, на магните, — Вера купила его для яиц, а он таскает в змеиную комнату засекаать купание и уборку. На экране: **00:00**. Двадцать минут, которых хватило перегородке, кончились.

Капля на руке набухает и наконец срывается. Ползёт по косточке к кольцу.

Глеб снимает таймер с холодильника. Пальцы правой руки совершенно спокойные. Он нажимает кнопку минут. Четыре раза по десять. Цифры щёлкают так же, как птица на часах.

40:00.

Вот что Глеб не знает и не узнает: укусила та, что лежала слева. Аспид. Зуб вошёл прямо в вену.

Над холодильником птица делает ещё один шаг.

Глеб нажимает кнопку.

Старт.

Часть первая. Самый счастливый день

Глава 1. Свадьба

Накануне, в пятницу, в четыре часа дня, Глеб стоял в коридоре загса на Садовой и пытался вспомнить, как дышат нормальные люди.

Коридор был длинный, с бежевыми стенами и фикусом в кадке, который кто-то полил, кажется, ещё при прошлой власти. Пахло мастикой, чужими духами и пирожками — на первом этаже был буфет. Перед ними расписывалась пара, у которой на всех гостей было четыре человека и одна огромная собака, белая, лохматая, с бантом на ошейнике. Собака сидела у двери зала и тяжело вздыхала, и Глебу казалось, что она понимает его лучше всех в этом здании.

Он двенадцать лет держал змей. Он однажды, на практике в Новосибирске, висел в люльке под пролётом на высоте сорока метров при порывистом ветре, и ему было интересно. Он однажды доставал из-под ванны у соседа сбежавшую кобру, которую сосед купил «по объявлению, для красоты», — и руки у него не дрожали. А сейчас руки дрожали так, что он спрятал их в карманы пиджака и нащупал там ручку: тяжёлую, металлическую, с гравировкой «Г. от мамы, 2009». Ей он собирался расписываться. Мама подарила её, когда он защищал диплом. Сказала: «Чтобы подписывал только хорошее».

— Ты белый, — сказал Лёва. — Как плитка в морге. Это комплимент, если что.

Лёва был свидетелем. Он был в сером костюме, который явно купил вчера и явно в спешке: рукава закрывали ему пальцы до второй фаланги. Галстук он завязал сам, и галстук это было видно. Лёва был физиком, работал в институте на окраине, где занимался чем-то настолько тонким, что сам называл это «я подглядываю за электронами, а они стесняются». Они дружили с девятого класса. За двадцать лет Глеб ни разу не видел Лёву без сигарет и ни разу не видел, чтобы Лёва куда-то пришёл вовремя. Сегодня он пришёл за час.

— Где она? — спросил Глеб.

— Там же, где была пять минут назад. В комнате невесты. С мамой и тётками. Тётки пудрят ей нос, мама плачет, всё по плану.

— Может, она передумала.

— Глеб. Женщина, которая два года живёт с тобой и с одиннадцатью гадами в двухкомнатной квартире, не передумает за пять минут до загса. Если бы она могла передумать, она бы передумала где-то в районе второй гадюки.

Глеб засмеялся, и стало чуть легче. Потом открылась дверь комнаты невесты, и стало трудно совсем.

Вера вышла в коридор и остановилась, потому что подол зацепился за порожек. Она наклонилась его отцепить, выпрямилась, увидела Глеба и сделала лицо, которое делала всегда, когда у неё что-нибудь не получалось у доски перед классом: брови домиком, нижняя губа поджата, — мол, ну да, вот такая я. Глеб видел это лицо сотню раз. И ни разу ещё оно не делало с ним такого.

Платье она перешила сама. Это было мамино платье, свадебное, девяносто третьего года, с рукавами-фонариками и кружевным воротником под горло. Вера два месяца сидела над ним по вечерам на кухне, разложив его на столе, как карту, с булавками во рту, под оранжевым абажуром, который остался Глебу от мамы. Из змеиной комнаты через приоткрытую дверь на неё светили лампы террариумов, и Вера говорила, что это самая странная швейная мастерская в мире: портниха и одиннадцать заказчиков, которые смотрят на неё не моргая. Она отпоролла фонарики. Срезала воротник. Открыла плечи. Сузила лиф, укоротила подол до щиколотки, а

из срезанного кружева сделала тонкий пояс. Глеб видел платье по частям, кусками, раскроенным, в нитках. Целым он его не видел. Вера не разрешала.

Теперь он увидел.

Он не помнил потом, что сказал. Лёва утверждал, что он сказал «ох» и больше ничего. Вера утверждала, что он сказал «ох, Вера» и что этого было достаточно. Сам Глеб помнил только, что Вера подошла и взяла его под руку, что рука у неё была ледяная и тоже дрожала, и что она прошептала ему, не поворачивая головы:

— Если я упаду в обморок, лови. Я в этом платье на полу не встану.

— Поймаю.

— Ты же со змеями только умеешь.

— Ты легче удава.

— Спасибо. Это самое романтическое, что ты мне говорил за два года.

Дверь зала открылась. Женщина в бордовом костюме, с халой на голове и голосом диктора советского телевидения пригласила их войти.

Зал был маленький, с золотыми шторами и ковром, на котором, если присмотреться, можно было найти следы всех свадеб последних тридцати лет. Гостей было человек тридцать. Слева сидели Верины: её мама, Нина Сергеевна, уже с платком у глаз, её отец, Павел Андреевич, огромный молчаливый мурманский моряк в отставке, который за всё время знакомства сказал Глебу, кажется, сорок слов, но каждое из них было одобрительным; тётки, двоюродная сестра с мужем, Верины подруги из музыкальной школы. Справа — Глебовы: друзья с работы, два парня из проектного института, Лёвина девушка Аня, однокурсники, тётя Галя, мамина сестра, приехавшая из Твери с огромной сумкой.

В первом ряду справа, у прохода, стоял стул. На стуле никто не сидел. На стуле стояла фотография в рамке: женщина лет шестидесяти, в синей кофте, на фоне сирени, щурится от солнца и смеётся. Это была мама. Глеб сам поставил её туда утром, приехав пораньше, и сам попросил, чтобы этот стул не занимали. Женщина с халой посмотрела на него с пониманием и кивнула. Наверное, ей часто приходилось видеть такие стулья.

Мама умерла три года назад. Инсульт. Утром она позвонила ему, сказала, что голова болит и что погода меняется, спросила, не забыл ли он купить мышей своим «червякам». Он сказал, что не забыл, что ему некогда, что он перезвонит вечером. Вечером ему позвонила соседка. Мама лежала на полу кухни, у холодильника, под часами с птицей. Часы шли.

Он их забрал себе. Повесил на кухне над холодильником, точно так же, как висели у мамы. Вера сначала говорила, что птица её нервирует — «она скачет, как будто куда-то опаздывает», — а потом привыкла и стала с ней здороваться по утрам.

Вера вела его по ковру и, проходя мимо стула, чуть замедлила шаг. Глеб почувствовал, как она легко сжала ему локоть. Она ничего не сказала. Ей не надо было ничего говорить.

Расписывались маминой ручкой. Глеб расписался, и подпись вышла кривой, с хвостом вниз, как будто он расписывался в поезде. Вера расписалась аккуратно, круглыми учительскими буквами. Женщина с халой сказала, что теперь, в соответствии с законом, они муж и жена, и попросила обменяться кольцами.

Тут случилась заминка. Глеб взял Верину правую руку, потому что так у всех, так было у его родителей, так он видел в сотне фильмов. Вера мягко высвободила правую и протянула левую.

— Сюда, — шепнула она.

— Почему?

— Ближе к сердцу. Я решила. Ну надень, все же смотрят.

Он надел. Кольцо прошло легко и село у основания пальца так, будто всегда там сидело. Потом Вера взяла его левую руку и надела кольцо ему, тоже на безымянный. Кольцо было

чуть тесновато, она его прокрутила, протолкнула через костяшку, и оно встало на место. Глеб посмотрел на свою руку. Рука была чужая и очень красивая.

Сзади, из рядов, отчётливым тверским шёпотом сказала тётя Галя:

— На левой-то у нас вдовы носят.

Кто-то на неё зашикал. Вера, не оборачиваясь, громко и весело сказала:

— А я буду первой счастливой.

Засмеялись все, даже женщина с халой. Даже Павел Андреевич. Глеб засмеялся тоже, и смеялся дольше всех, потому что в этот момент понял, что любит её так, что это уже немного неприлично.

— Можете поцеловать, — сказала женщина с халой.

Он поцеловал. Вера пахла пудрой, мятной жвачкой, которую выплюнула в коридоре, и чуть-чуть — змеиной комнатой, тёплым деревом и лампами, этот запах вьелся во все их вещи. Она отстранилась, посмотрела на него снизу вверх и сказала тихо, так, что слышал только он:

— Ну всё. Попался.

* * *

Ресторан был на набережной, в старом купеческом доме с белыми колоннами, в зале на втором этаже, с большими окнами на реку. Выбирала Вера, потому что из окон было видно мост. Тот самый мост. Глеб работал на его реконструкции три года: считал нагрузки на новые пролёты, ругался с подрядчиками, мёрз зимой на опорах, где ветер с реки резал лицо, как бритвой. Вера сказала: «Пусть он на нас смотрит, ты же его почти родил». Глеб сказал, что мосты не рожают, мосты проектируют. Вера сказала, что не видит разницы: «Ты тоже не спал ночами и тоже переживал, что что-нибудь упадёт».

Мост и правда смотрел. Вечером на нём зажгли фонари, и он лёг через чёрную воду длинной жёлтой ниткой. На одной полосе шёл ремонт — там мигали оранжевые огни, и машины ползли, сбиваясь в пробку, но отсюда, сверху, пробка казалась красивой: красные огоньки фар тянулись, как бусины.

Торт привезли в шесть. Торт был трёхъярусный, белый, с ягодами, а на самом верху стояли две сахарные фигурки: жених в чёрном фраке и невеста в белом платье. Кондитер сделал их по фотографии, и Вера заранее предупреждала, что если жених будет похож на Глеба, она этого кондитера расцелует. Кондитера расцеловывать не пришлось. Когда торт вносили в зал, курьер зацепился плечом за дверной косяк, торт качнулся, и жениху отломилась голова. Голова упала куда-то в крем второго яруса и пропала.

Наступила тишина. Курьер побелел. Кондитер, приехавший лично, схватился за сердце.

Первым засмеялся Павел Андреевич. Глеб никогда не слышал, как он смеётся, и теперь узнал: громко, басом, как паровой гудок, запрокинув голову. За ним засмеялась Вера. За ней — весь зал.

— Ну всё, — сказал Лёва, вставая с бокалом. — Это судьба. Глеб, брат, ты понимаешь, что тебя ждёт. Первый год брака. Голова отдельно, ноги отдельно, руки делают, что жена скажет.

— Голову найдём, — сказала Вера, отсмеявшись. — Она где-то в креме. Я её доем.

— Только не подавись, — сказал Глеб.

— Я буду жевать медленно и с любовью.

Голову так и не нашли. Безголовый жених простоял на торте весь вечер рядом с невестой, придерживая её под руку, и Вера время от времени поглядывала на него и прыскала в салфетку.

Лёвин тост был после горячего.

Лёва встал, постучал вилкой по бокалу, потом ещё раз, потом громче, потому что тётя Галя рассказывала соседке про давление и не слышала. Наконец стало тихо. Лёва поправил рукава, которые закрывали ему пальцы, — рукава не поправились, — и сказал:

— Я физик. Это значит, что я двадцать лет занимаюсь вещами, которые невозможно себе представить. Электрон, например, не находится в одном месте. Он находится везде, где может находиться, — пока на него не посмотрят. Я долго думал, как объяснить это нормальным людям, и не мог. А потом познакомился с Верой.

Он повернулся к Вере. Вера подняла брови.

— Потому что Вера тоже находится везде, — сказал Лёва. — Она одновременно в музыкальной школе, где у неё тридцать детей, на кухне, где она перешивает платье, в змеиной комнате, где она уговаривает себя не бояться, и в голове у этого человека, — он показал на Глеба, — где она находится всегда, в любое время суток, в том числе когда он считает нагрузку на пролёт. Я проверял. Я его спросил однажды, что он сейчас считает. Он сказал: «Вера». Я сказал: «В смысле, Вера?» Он сказал: «А, нет, двести сорок килоньютонов».

Зал засмеялся. Глеб покраснел. Это была правда, он помнил этот разговор.

— Глеб строит вещи, которые не падают, — продолжал Лёва, уже серьёзнее. — Это его главное свойство. С ним надёжно. Он двенадцать лет держит в доме смерть в стеклянных коробках и ни разу, ни разу не ошибся, потому что он всё проверяет по три раза. Он проверял и тебя, Вера, ты знаешь. Целый год проверял. Ходил вокруг, считал, прикидывал. Мне жаловался. А потом пришёл ко мне и сказал: «Лёва, запас прочности бесконечный». Я сказал: «Так не бывает». Он сказал: «Бывает. Я пересчитал».

Вера смотрела на Глеба. У неё дрожал подбородок.

— Так вот, — сказал Лёва и поднял бокал. — Я учёный. Я верю только в то, что можно проверить. Я проверил. Я видел вас два года, вместе, в этой квартире с гадами, с её роялем, который не влез в лифт, с его стеллажами до потолка. Я ответственно заявляю как физик: эта конструкция выдержит. За Веру и Глеба. За бесконечный запас прочности.

Пили стоя. Нина Сергеевна плакала уже не в платок, а прямо так. Глеб обнял Лёву, и Лёва пробормотал ему в ухо:

— Только не реви, а то я тоже начну, а у меня рукава длинные, я ими лицо не вытру.

Танцевали под музыку, которую выбирала Вера и которую Глеб не узнавал, но обещал выучить. Он был плохой танцор. Он был не просто плохой танцор, он был инженер, который танцует: считает шаги вслух, смотрит вниз, держит партнёршу так, будто она стальная балка, которую надо аккуратно опустить на опоры. Вера знала это. Они отрепетировали танец три раза в коридоре, между вешалкой и дверью в змеиную комнату, и все три раза он наступил ей на ногу.

На свадьбе он наступил ей на ногу на шестом такте. Каблуком, всем весом, прямо на пальцы, торчащие из открытой туфли.

Вера охнула, но не остановилась. Она улыбалась гостям ослепительной улыбкой и шипела ему в щёку:

— Ты. Мне. Палец. Сломал.

— Прости, прости, прости.

— Улыбайся. Нас снимают.

— Я улыбаюсь.

— Ты улыбаешься, как будто у тебя зуб болит.

— У меня совесть болит.

— Совесть — это хорошо. Вот теперь улыбайся. И не смотри вниз. Смотри на меня.

Он посмотрел на неё. И что-то случилось со временем: музыка играла, гости хлопали, фотограф приседал и щёлкал, мост за окном лежал жёлтой ниткой через тёмную реку, — а Глеб видел только Верино лицо, близко, её глаза, мокрые от смеха и от боли в пальце, крошеч-

ную родинку у левой брови, прядь, выбившуюся из причёски, — и ему показалось, что этот танец длится очень долго, гораздо дольше, чем идёт песня, что он может рассмотреть каждую ресницу, каждую золотую искру в её радужке. Потом песня кончилась, и выяснилось, что прошло три минуты.

Больше он на ногу ей не наступал. Позже, когда они сидели за столом, Вера сняла под столом туфлю и положила ступню ему на колено. Палец распух и покраснел.

— Буду хромать на работе, — сказала она. — Скажу детям, что муж наступил. Они решат, что я жертва домашнего насилия.

— Скажи, что змея укусила.

— Тогда они решат, что я жертва твоего хобби. Это ещё хуже. — Она пошевелила пальцами на его колене. — Подуй.

Он наклонился под стол и подул. Тётя Галя, сидевшая напротив, увидела, как жених лезет под стол к ногам невесты, и громко сказала: «Ну всё, это любовь», — и Вера смеялась так, что расплескала шампанское на кружевной пояс.

Про змей начали шутить ближе к одиннадцати, когда выпили достаточно, чтобы стало можно.

Начал Сергей из проектного института, который был у них дома один раз, в прошлом году, и до сих пор об этом рассказывал.

— Вера, — сказал он, перегибаясь через стол, — а ты вообще знаешь, за кого выходишь? Я у них в гостях был. Я в туалет пошёл, а там в ванной, в тазике, сидит удав. Просто сидит. Купается. Смотрит на меня. Я в туалет уже не хотел.

— Это был Боря, — сказал Глеб. — Он королевский питон. И он не удав.

— Мне без разницы, Глеб. У меня до сих пор, когда я в туалет захожу, первая мысль — проверить ванну.

— Знаю, — сказала Вера. Она подпёрла щеку рукой и улыбалась Глебу через стол. — Знаю, за кого. Ядовитых он завтра отдаёт. Да, Глеб?

Все посмотрели на Глеба.

— Да, — сказал Глеб. — Андрей в воскресенье в двенадцать.

— В воскресенье? — Вера подняла бровь. — Ты говорил — завтра.

— Я говорил — в выходные. Андрей в Казани до воскресенья, на выставке. Приезжает утренним поездом и сразу к нам. В двенадцать.

— Значит, послезавтра. — Вера вздохнула с театральным трагизмом. — Ну ладно. Один день ещё потерплю.

— А сколько их у тебя ядовитых? — спросила Лёвина Аня.

— Три, — сказал Глеб. — Кобра, гадюка и аспид.

— Кобра?! — Аня поставила бокал. — Настоящая?

— Монокльная. У неё на капюшоне такое пятно, как монокль. Как будто она в очках.

— Интеллигентная, значит, — сказал Лёва.

— А аспид — это кто? — спросила Аня.

— Это такая маленькая, — сказала Вера раньше Глеба. — Красивая. Красная, жёлтая, чёрная. Как конфета. Самая страшная из всех. У неё даже имени нет. Глеб им не даёт.

— Почему? — спросил кто-то.

Глеб пожал плечами. Он не любил об этом говорить на людях. Но все смотрели, и Вера смотрела, и он сказал:

— Кличка — это когда позволяешь себе забыть, кто перед тобой. Дал имя — начал разговаривать, как с котом. Начал как с котом — однажды сунешь руку без крюка. С ядовитыми так нельзя.

Стало на секунду тихо. Потом Сергей сказал:

— А со Сметаной можно?

— Со Сметаной можно, — сказала Вера. — Сметана — моя. Я её назвала. Она молочная. Молочная — значит, Сметана. И она точно такая же с виду, как этот аспид, я их до сих пор не отличаю. Глеб мне стишок рассказывал, как отличать, а я не запомнила. Там что-то про красное и жёлтое.

— Красный с жёлтым — яд в кольце, — сказал Глеб. — Красный с чёрным — друг в руке.

— Вот. — Вера подняла палец. — А я всё равно не отличаю. Поэтому я просто на Сметану тоже не смотрю. На всякий случай. Но она хорошая. Она у меня с ладони пила один раз. Из ладошки, представляете.

— Боже мой, — сказала Нина Сергеевна. — Вера.

— Мам, она неядовитая.

— А другая — ядовитая.

— А другую он в воскресенье отдаёт. — Вера потянулась через стол и накрыла руку Глеба своей, так что два новых кольца стукнулись друг о друга. — Он обещал. Он всегда делает, что обещал. Да?

— Да, — сказал Глеб.

Ему вдруг стало немного грустно. Аспид жил у него семь лет. Он ни разу не дал ему имени, но знал его привычки, знал, как тот закапывается в субстрат, высунув наружу только хвост, который похож на голову, — чтобы обмануть. Глеб любил его той осторожной, без единой капли нежности любовью, которой можно любить только то, что может тебя убить. В воскресенье в двенадцать его заберёт Андрей. А в понедельник в квартире будет на три стеклянных коробки меньше, и это будет правильно.

Он сжал Верину руку. Кольца ещё раз стукнулись.

* * *

К трём часам ночи гости разошлись. Остались только свои, человек десять, и те сидели в углу зала, сдвинув столы, и пели под гитару что-то, чего никто не помнил до конца. Вера сидела с мамой и тётками, обняв колени, босиком, туфли стояли рядом. Павел Андреевич спал в кресле, сложив на животе огромные руки. Официанты убирали посуду с осторожностью сапёров.

Глеб вышел на балкон.

Балкон был длинный, каменный, с баясинами, на всю ширину зала. Внизу шумела река. Мост лежал справа, огромный, тёмный, с редкими машинами, — пробка к ночи рассосалась, только у ремонтной полосы всё мигали оранжевые огни. Было холодно, по-настоящему холодно, по-октябрьски. Пахло водой, бензином и опавшими листьями.

Лёва стоял у перил и курил. Без пиджака, в рубашке с расстёгнутым воротом, с ослабленным галстуком, который так и не научился держать форму. Он обернулся на звук двери и молча подвинулся, освобождая место у перил.

Они постояли молча. Лёва курил. Глеб смотрел на мост.

Год назад, в октябре, Глеб бросил курить. Он курил с шестнадцати, с того же девятого класса, что и Лёва, курил много, полторы пачки в день на объекте, и бросил за один вечер, когда Вера, переехав к нему, однажды поцеловала его после сигареты, отстранилась и сказала без всякой обиды, просто как факт: «Ты на вкус как пепельница». И всё. Он выкинул пачку в форточку, на газон, — потом жалел, что мусорит, — и больше не курил. Было тяжело. Первые три месяца было очень тяжело, он грыз ручки, жевал морковку, рывкал на подрядчиков. Потом прошло. Почти прошло. Иногда, очень редко, вечером, на балконе, он вдруг чувствовал, что пальцам чего-то не хватает.

Сейчас пальцам не хватало.

— Дай, — сказал он.

Лёва посмотрел на него, на протянутую руку, потом снова на него.

— Ты бросил.

— Бросил. Дай одну.

Лёва достал пачку из кармана брюк. Пачка была мягкая, красная, наполовину пустая. Он вытряхнул сигарету, протянул. Щёлкнул зажигалкой, прикрывая огонь ладонью от ветра.

Глеб затянулся. Дым ударил в горло, в лёгкие, горячий, горький, невозможный, — и тут же голова поплыла, мягко, сладко, как в первый раз за гаражами в девятом классе. Он закашлялся. Лёва засмеялся.

— Последняя, — сказал Глеб, откашлявшись. — Вере не говори.

— Могила, — сказал Лёва. — Ты же меня знаешь.

Они курили и молчали. Внизу проплыла по реке баржа, тёмная, с одним огоньком на корме. Глеб смотрел на мост и думал, что вот он женат. Что это действительно случилось. Что там, за стеклянной дверью, сидит босиком его жена. Его жена. Он пробовал это слово на вкус, как дым, и не мог распробовать.

— Знаешь, о чём я думаю? — сказал Лёва.

— О чём?

— О том, как маловероятно всё вот это. — Лёва повёл сигаретой: балкон, река, мост, стеклянная дверь, за которой пели. — Ты, она, я, этот балкон. Ты когда-нибудь думал, сколько всего должно было случиться именно так, чтобы ты сейчас тут стоял? Если бы твоя мама в восемьдесят девятом не пошла на тот вечер. Если бы Вера не пришла в тот вечер на день рождения к Ане. Если бы ты не опоздал на маршрутку и не пошёл пешком мимо её музыкалки. Миллион развилочек. И в каждой — ты мог пойти налево.

— Ну, — сказал Глеб. — Я пошёл направо.

— А может, ты пошёл и туда и туда.

Глеб посмотрел на него.

— Опять, — сказал он. — Начинается. Лёва, у меня свадьба.

— У тебя свадьба кончилась три часа назад. Сейчас у тебя ночь, балкон и сигарета, которую ты украл у своего будущего. Самое время для физики.

Глеб засмеялся.

— Давай, — сказал он. — Вещай.

И Лёва стал вещать.

Он делал это так, как делал всегда, с девятого класса, — сначала нехотя, будто его тянут за язык, а потом всё быстрее, загораясь, размахивая сигаретой, роняя пепел на перила. Глеб любил его слушать. Он не всё понимал, но Лёва умел объяснять так, что казалось — понимаешь.

— Смотри. Кирпич первый. Есть такая штука — квантовая механика. Самые маленькие частицы, электроны там, фотоны. Они ведут себя не как бильярдные шары. Пока на них никто не смотрит, они как бы находятся во всех возможных состояниях сразу. Не «мы не знаем, где он». А он реально и тут, и там. Это называется суперпозиция. Ты кота Шрёдингера знаешь?

— Кот в коробке. Жив и мёртв.

— Да. Шрёдингер это придумал как раз чтобы показать, насколько это бредово. Сажаешь кота в коробку, там ампула с ядом и механизм, который разобьёт ампулу, если распадётся один атом. А атом — квантовый, он в суперпозиции, он и распался, и не распался. Значит, и кот — и жив, и мёртв. Пока ты не откроешь коробку и не помотришь. Тогда — бац — что-то одно.

— Бедный кот.

— Бедный кот. Так вот. Что происходит, когда открываешь коробку? Почему из «и то и то» вдруг получается «что-то одно»? Над этим сто лет все бьются. И есть одна интерпретация, — Лёва поднял палец, — подчёркиваю, интерпретация, а не доказанный факт, это важно, — её придумал в пятьдесят седьмом году такой американец, Хью Эверетт. Он сказал: а ничего

никуда не схлопывается. Когда ты открываешь коробку, мир просто ветвится. Есть ветка, где кот жив, и ты его гладишь. И есть ветка, где кот мёртв, и ты его хоронишь. Обе настоящие. Обе существуют. Просто ты в каждой видишь только одно. Это называется многомировая интерпретация. Каждый раз, когда что-то может пойти двумя путями, — идёт обоими. Мир, как дерево. Ветки, ветки, ветки. Миллиарды.

— И где-то там я не женился, — сказал Глеб.

— Где-то там ты не женился. Где-то там ты стал архитектором. Где-то там ты сейчас стоишь на этом же балконе, но с Анькой, а я — с Верой.

— Это кошмар.

— Для меня — нет, — сказал Лёва, и Глеб пихнул его плечом.

— Это правда? — спросил Глеб. — Ну, в смысле, это так и есть?

— Никто не знает. — Лёва пожал плечами. — Честно. Это одна из нескольких интерпретаций. Некоторые физики в неё верят. Некоторые считают её чушью. Проверить нельзя: ты же не можешь перепрыгнуть в соседнюю ветку и посмотреть. Это вопрос вкуса, почти. Но математически — она чистая. Очень красивая. И из неё следует одна жуткая вещь.

— Какая?

— Кирпич второй. — Лёва затушил окурок о балясину и сразу вытряхнул из пачки новую. — Квантовое бессмертие. Это мысленный эксперимент, его придумали позже. Смотри. Допустим, Эверетт прав. Допустим, всё ветвится. А теперь представь, что в коробке не кот. А ты.

Глеб молчал.

— Ты сидишь в коробке. Амбула. Атом. Пятьдесят на пятьдесят. Атом распался или нет — мир разветвился. В одной ветке ты умер. В другой — жив. Вопрос: в какой ветке ты себя обнаружишь?

— В той, где жив, — медленно сказал Глеб.

— Конечно. В той, где ты умер, — некому обнаруживать. Там нет никого, кто мог бы сказать «ой, я умер». Ощущать себя ты можешь только там, где ты есть. Значит, изнутри — со своей точки зрения — ты всегда выживаешь. Каждый раз. Кто-то посмотрит снаружи и скажет: «Ну, бедняга, не повезло». А ты изнутри скажешь: «Фух, пронесло». Всегда. Ты всегда тот, кому повезло. Изнутри ты никогда не переживёшь собственную смерть.

— Подожди. — Глеб нахмурился. — А как же... старость. Люди же умирают. Все.

— Все, кого ты видишь снаружи, — да. Снаружи ты увидишь, что все умирают. А изнутри? — Лёва развёл руками, и сигарета прочертила в темноте оранжевую дугу. — Это не проверишь. Вот в чём весь ужас. Тот, кто проверил, — рассказать не может. А тот, кто может рассказать, — не проверил. Опровергнуть это невозможно. И доказать невозможно. Висит.

Глеб затаился. Сигарета догорала, он не заметил, как выкурил её почти всю. Ему было весело и чуть-чуть холодно, и холод был не только от октябрьского ветра.

— Хорошо, — сказал он. — Допустим. Ещё кирпичи есть?

— Есть. Кирпич третий, это уже не физика, это биология. — Лёва облокотился на перила. — В тринадцатом году американцы ставили опыт на крысах. Останавливали им сердце и смотрели, что происходит в мозге. Все думали — мозг просто гаснет. Как лампочка, когда выдёргиваешь шнур. Тусклее, тусклее, темнота. А там вышло не так. Там, после остановки сердца, секунд на тридцать, мозг вспыхнул. Всплеск. Организованная активность, гамма-волны — такие, какие бывают при очень ясном, очень сосредоточенном сознании. Даже сильнее, чем у живой крысы, которая бодрствует.

— У крыс.

— У крыс. Потом похожее увидели у людей. У некоторых умирающих, в реанимации, когда их отключали от аппаратов. Не у всех. У некоторых. — Лёва поднял палец. — Это важно, я не хочу тебе врать. У некоторых. Выборка маленькая. И что это значит — никто не знает.

Может, это вообще ничего не значит, просто электрический мусор, предсмертная судорога нейронов. А может... — Он помолчал. — Но факт есть факт. Мозг перед смертью не тускнеет. Он вспыхивает.

Из-за стеклянной двери грохнул смех. Кто-то уронил гитару, она загудела всеми струнами. Глеб вздрогнул.

— И кирпич четвёртый, — сказал Лёва тише. — Совсем простой. Ты сны видишь?

— Вижу.

— Тебе снилось когда-нибудь, что прошёл целый день? А потом смотришь на часы — ты спал двадцать минут.

— Бывало.

— Время во сне — резиновое. За пять минут можно прожить неделю. И ещё одно. Во сне у тебя отключается — ну, не отключается, ослабевает — один участок мозга. Лобная кора, если по-умному. Это та часть, которая говорит: «Стоп. Так не бывает». Поэтому во сне ты разговариваешь с мёртвыми и не удивляешься. Видишь, что у тебя часы показывают тридцать семь часов, — и киваешь. Летаешь — и думаешь: ну да, летаю, нормально. Тот, кто должен кричать «эй, это бред!», — спит.

Он замолчал и посмотрел на Глеба.

— Ну? — сказал Глеб.

— Сложи вместе.

Глеб не сложил. Он не хотел складывать. Он стоял с окурком в пальцах и смотрел на мост.

— Сложи вместе, — повторил Лёва. — Мозг в последние секунды вспыхивает. Время внутри вспышки может растянуться как угодно. И внутри неё ты не способен заметить подвох. Значит, изнутри смерть выглядит не как темнота, а как спасение. Ты закрываешь глаза, открываешь — скорая успела. И ты живёшь дальше. Может, годы. А снаружи проходит сорок секунд.

Внизу о гранит плеснула вода. Глеб вдруг почувствовал, как у него по спине, под рубашкой, медленно стекает одна холодная капля. Он передёрнул плечами.

— Ты больной, — сказал он. — Ты в курсе, что ты больной? Это на свадьбе. Лучшему другу. В три часа ночи.

— Ты сам спросил.

— Я спросил, есть ли ещё кирпичи. Я не просил строить из них склеп.

Лёва засмеялся.

— Это не склеп. Это, если подумать, утешение. Получается, никто никогда не умирает изнутри. Все спасаются. Каждый.

— Это не утешение. — Глеб бросил окурочек вниз, в темноту, и смотрел, как оранжевая точка падает к воде и гаснет. — Это хуже всего, что я слышал. Это значит, ты умираешь — и даже не знаешь. Думаешь, что живёшь, а тебя уже нет. И тебе там хорошо. А тебя нет.

— А в чём разница? — тихо спросил Лёва. — Если тебе там хорошо.

Глеб не ответил.

— Ладно, — сказал Лёва уже другим голосом, лёгким. — Есть же способ проверить. Проверки реальности. Их люди придумали, которые учатся осознанным сном. Чтобы во сне понять, что спишь. Хочешь?

— Давай. Мне уже всё равно.

— Раз. — Лёва загнул палец. — Посчитай пальцы. Во сне их часто бывает больше. Шесть, семь. Или они гнутся не туда. Мозг плохо рисует руки. Два. Прочитай какой-нибудь текст. Отвернись. Прочитай снова. Во сне текст меняется. Буквы плывут, слова другие. Три — то же самое с часами. Посмотри на часы, отвернись, посмотри ещё раз. Сон плохо держит цифры. Четыре. Щёлкни выключателем. Во сне свет часто не меняется — щёлкаешь, а лампа как горела, так и горит. Мозг не может быстро перерисовать освещение. Пять. Посмотри в зеркало. Во сне с зеркалами вечно какая-то фигня. — Он загнул последний палец и посмотрел на кулак.

— И главное. Если рядом с тобой человек, которого нет в живых, — ты спишь. Сто процентов. Без вариантов.

Глеб подумал о маминей фотографии на пустом стуле. О часах с птицей. О том, что если бы мама сейчас открыла стеклянную дверь и вышла на балкон в своей синей кофте, он бы, наверное, ни о чём не спросил. Просто обрадовался бы.

— А если не заподозрю? — сказал он.

Лёва посмотрел на него долго. Потом улыбнулся — криво, одной стороной рта, как улыбался, когда у него не сходился расчёт.

— Тогда тебе повезло, — сказал он.

Они помолчали. Глеб засмеялся — сначала через силу, потом по-настоящему, потому что всё это было нелепо: два мужика в мятых костюмах на балконе, в три часа ночи, после свадьбы, обсуждают, как выглядит смерть изнутри. Лёва засмеялся тоже. Они стояли и ржали, держась за перила, а холодная капля на спине у Глеба всё никак не высыхала.

— Пойдём, — сказал Лёва. — Твоя жена босиком сидит, простудится.

Он протянул Глебу свою пачку. Там оставалось сигарет пять.

— На. Пусть у тебя полежит, а то я до утра всё скурю. Завтра отдашь.

— Я не курю.

— Я знаю. Поэтому у тебя и полежит. Ты самое надёжное хранилище в городе. У тебя кобра пять лет не сбежала.

Он сунул пачку Глебу в нагрудный внутренний карман пиджака, рядом с маминей ручкой, и похлопал сверху ладонью, как будто запечатал.

Глеб забыл о ней через минуту.

* * *

Домой они приехали в начале пятого. Такси, жёлтое, пахнущее ёлочкой и чужими сигаретами, долго стояло на мосту: на ремонтной полосе и ночью что-то делали, рабочий в оранжевом жилете махал светящимся жезлом, пропуская машины по одной. Вера спала у Глеба на плече. В руках у неё была коробка с остатками торта — нижний ярус и тот, верхний, с безголовым женихом, — она настояла, чтобы взять. Ещё она держала свадебное меню, сложенное вдвое, плотное, кремовое, с золотыми буквами: «Вера и Глеб. 10 октября». Сказала, что положит его в альбом. Глеб смотрел через стекло на реку под мостом, чёрную, гладкую, и думал, что под этой опорой, мимо которой они сейчас проезжают, лежит его расчёт, его бессонные ночи, его двести сорок килоньютон. И что это держит.

Дома Вера положила меню на кухонный стол, торт сунула в холодильник, на верхнюю полку, сказала змеиной комнате через дверь: «Спокойной ночи, гады. Привет, дурочка», — и пошла в ванную снимать платье. Платье снималось двадцать минут, на спине было сорок крошечных пуговиц, обтянутых шёлком, и Глеб расстёгивал их по одной, сидя на краю ванны, а Вера стояла спиной к нему и считала вслух.

Свадебный пиджак Глеб повесил в спальне на плечики, на дверцу шкафа. Галстук стянул и накинул на ручку той же дверцы. Рубашку бросил на стул. Вера потом подняла её, встряхнула и сказала, что он в ней красивый и чтобы не смел пихать её в стирку, пусть повисит, она ещё на него посмотрит.

Они легли. Окно было не зашторено, и в спальню падал свет с моста — бледный, жёлто-оранжевый, неровный. В квартире было тихо. Из змеиной комнаты едва слышно гудели термостаты, где-то в глубине стеллажа шуршал полз, устраиваясь в укрытии. Батареи ещё не дали, было прохладно, и Вера прижалась к Глебу всем телом, холодными ступнями к его ногам.

— Палец болит, — сказала она.

— Прости.

— Я тебя прощаю. В последний раз. Больше не наступай.

— Больше никогда.

Она помолчала. Глеб думал, что она заснула, и начал засыпать сам. Он уже проваливался, уже видел под веками какой-то мост и оранжевые огни, и Лёвину сигарету, и кота в коробке, когда Вера вдруг сказала в темноте — совсем тихо, другим голосом, без смеха:

— Мне так хорошо, что страшно.

Он открыл глаза.

— Что?

— Мне так хорошо, что страшно, — повторила она. Её дыхание щекотало ему шею. — Как будто сейчас кто-то придёт и всё отберёт.

Глеб повернулся к ней. В полутьме он видел только контур её лица и блеск глаз. Она смотрела на него серьёзно, без улыбки, как ребёнок, который спрашивает, правда ли под кроватью никого нет.

— Никто не придёт, — сказал он.

— Точно?

— Точно. Я дверь запер. На оба замка.

Она тихо засмеялась и уткнулась носом ему в ключицу.

— Инженер, — сказала она.

— Инженер.

Через минуту она спала. Глеб лежал и смотрел в потолок, где медленно ползли отсветы фар с моста. Он думал о том, что запас прочности бесконечный. Что он пересчитал. Он слышал, как в змеиной комнате, за стеной, кто-то тихо скользит по стеклу.

Потом он тоже заснул. Было без четверти пять утра субботы.

Глава 2. Две полосы

Проснулся он от того, что батарея под окном громко, отчётливо щёлкнула, как будто кто-то постучал в неё ложкой.

Глеб открыл глаза. В спальне было светло, серо и неожиданно тепло. Батарея щёлкнула ещё раз, потом зажурчала, забулькала, потом издала долгий утробный стон, и по комнате пошёл сухой, чуть пыльный запах первого отопления — запах, который бывает раз в году, в тот день, когда зима объявляет, что она уже выехала. Дали. Глеб потрогал батарею, не вставая, вытянув руку с кровати. Горячая. Обжигающе горячая, после целой недели, когда они спали под двумя одеялами, а змеиная комната жила только на своих лампах и термостатах.

Он подумал: змеям сегодня будет хорошо.

Он подумал: я женат.

Мысль была новая и не помещалась в голове. Он полежал с ней немного, как лежат с подарком, который ещё не распакован. Потом повернул голову.

Веры рядом не было. Подушка была смята, одеяло откинута. Часы на телефоне показывали девять ноль шесть.

Из ванной не доносилось ни звука. Не шумела вода, не гудел фен, Вера не пела — а она всегда пела в ванной, вполголоса, что-нибудь из того, что разучивала с детьми, и Глеб уже знал наизусть половину детского репертуара музыкальной школы. Дверь ванной была закрыта. Под ней горела полоска света.

Он встал, натянул футболку, вышел в коридор. Пол был холодный, батарея в коридоре ещё только начинала прогреваться и булькала, как чайник на медленном огне. Из змеиной комнаты, дверь в которую была приоткрыта, тянуло теплом и влажностью и светом ламп. Глеб машинально заглянул туда: стеллажи до потолка, двенадцать стеклянных ящиков, из которых один пустой — бывший дом гадюки, которую он год назад переселил в больший, — в каждом своя лампа, свой мир. Полозы спали. Королевский питон Боря, толстый, ленивый, свёрнутый в аккуратный ком на нижней полке, приоткрыл глаз и снова закрыл. Выше, на средней полке, в самом большом ящике лежала кобра, длинная, тёмная, с бледным горлом, неподвижная, как кусок шланга. Ещё выше, у самого потолка, — гадюка с рожками над глазами, закопанная в песок так, что видны только рожки и глаза. В углу, на полке у окна, стояли рядом два террариума: в левом спала Сметана, в правом, закопавшись в субстрат, — аспид. Из субстрата торчал только кончик хвоста, тупой, чёрный, с жёлтым кольцом, — похожий на голову. Обманка. Аспид всегда так делал.

— Доброе утро, — сказал им Глеб. — Последний день.

Змеи не ответили.

Он постучал в дверь ванной.

— Вер? Ты там живая?

Пауза. Потом щёлкнула задвижка, и дверь открылась.

Вера стояла на пороге в его старой футболке с надписью «МОСТОТРЕСТ-2019», босиком, с растрёпанными после вчерашней причёски волосами, в которых ещё торчала одна забытая шпилька. В руках у неё было что-то маленькое, белое, пластиковое. Руки дрожали. Не чуть-чуть, а сильно, так, что эта пластиковая штука в пальцах ходила ходуном.

Лицо у неё было такое, какого Глеб у неё никогда не видел. Испуганное и счастливое сразу. Как будто она только что упала с большой высоты и обнаружила, что умеет летать.

— Глеб, — сказала она.

— Что? Что случилось? Ты порезалась?

Она молча протянула ему руку с белой штукой. Он посмотрел. Это была пластиковая палочка с окошком. В окошке были две полоски. Одна яркая, малиновая. Вторая — бледнее, но совершенно отчётливая. Две.

Он смотрел на неё секунды три. Мозг инженера, который должен был всё понять мгновенно, буксовал и проскальзывал, как колесо на льду. Он знал, что это такое. Он видел это в кино. Он не мог соединить то, что видел в кино, с тем, что держала в руке его жена в девять утра в коридоре его квартиры.

— Это... — сказал он.

— Да.

— Это то, что я...

— Да.

— Это две?

— Две, Глеб. — Голос у неё сорвался и стал тонким и смешным. — Две полоски. У меня задержка пять дней. Я думала, это от свадьбы, от нервов. Я в четверг купила тест и спрятала в сумку, я думала — после свадьбы, чтобы не... Чтобы, если нет, не расстраиваться перед... Я проснулась в семь и не могла уже... Я тут полчаса сижу. Я её два раза перечитала. Там инструкция. Две полоски — это да. Это значит да.

Он не помнил, кто сел первым. Кажется, всё-таки он: ноги вдруг стали ватными, и он сполз спиной по стене коридора на пол, на холодный линолеум, рядом с вешалкой, на которой висела Вераина куртка. Вера опустилась рядом, прямо на пол, поджав босые ноги, и они сидели плечом к плечу, глядя на две полоски в окошке, как будто это было окно в другую комнату.

Первой засмеялась Вера. Прыснула, зажала рот рукой, но не удержалась. Глеб посмотрел на неё — и тоже засмеялся, и оба они хохотали, как дураки, без всякой причины, сидя на полу в коридоре, она — в его футболке, он — в трусах и вчерашних носках, держась друг за друга, и чем больше они смеялись, тем смешнее становилось, и он не мог остановиться, и Вера била его кулаком в плечо и говорила «перестань, перестань, я сейчас описаюсь, а мне нельзя, мне теперь, наверно, ничего нельзя», и от этого становилось ещё смешнее.

А потом он вдруг понял, что уже не смеётся.

Это случилось без перехода. Только что он хохотал — и вот уже у него трясутся плечи, и горло сжимается, и по щекам течёт что-то горячее, и он не может это остановить, как не мог остановить смех. Он закрыл лицо руками. Кольцо холодно прижалось к брови. Он плакал некрасиво, всхлипывая, шмыгая носом, как в последний раз, наверное, плакал в первом классе, — на маминых похоронах он не плакал, не смог, стоял как столб, и Лёва потом говорил, что лучше бы он орал, — а теперь вот плакал, на полу, при Вере, в первый раз за два года, что они были вместе.

Вера перестала смеяться. Она обняла его, обхватила его голову руками и прижала к себе, к своему плечу, к футболке «МОСТОТРЕСТ», и гладила его по затылку, как гладят ребёнка, и молчала.

— Прости, — сказал он ей в плечо. — Я не знаю, что это. Я не плачу.

— Я вижу.

— Это не я.

— Я вижу, что не ты. — Она поцеловала его в макушку. — Плачь, Глебушка. Мне нравится. Я буду потом всем рассказывать.

— Не смей.

— Буду. Нашему расскажу. Когда вырастет. Скажу: твой папа сидел в трусах на полу и ревел.

Нашему.

Он поднял голову и посмотрел на неё. Лицо у неё тоже было мокрое — когда она успела, он не заметил.

— Нашему, — сказал он.

— Нашему. — Она кивнула и снова засмеялась, сквозь слёзы. — Или нашей. Я не знаю. Там пока размером с какое-нибудь зёрнышко. С маковое. Я ночью в телефоне читала, пока ты храпел.

— Я не храплю.

— Храпишь. Как Боря, когда линяет.

— Боря не храпит.

— Значит, ты храпишь как кто-то, кто не Боря.

Они сидели на полу ещё долго. Батарея в коридоре окончательно прогрелась и затихла, только иногда потрескивала. С улицы, с моста, сквозь двойные рамы доносился ровный гул: суббота, ремонт полосы, пробка. Где-то за стеной сосед начал сверлить — коротко, яростно, с паузами. Вера держала тест в кулаке и время от времени разжимала пальцы, чтобы посмотреть, не исчезла ли вторая полоска. Вторая полоска не исчезала.

— Я куплю второй тест, — сказала она. — Чтобы точно. Они иногда врут. Я читала. Ложноположительный. Бывает.

— Бывает, — сказал Глеб. Он в это не верил. Он смотрел на её лицо и знал: не бывает.

— Куплю на обратном пути из аэропорта. Чтобы точно. И тогда уже будем радоваться по-настоящему. А пока — так, наполовину.

— Это ты называешь наполовину?

— Это я называю вполсилы, — сказала Вера и вытерла нос рукавом его футболки.

* * *

Завтракали тортом.

Так решила Вера: сказала, что в такой день она не будет есть кашу, как нормальный человек, что она беременная жена и имеет право. Глеб вытащил из холодильника коробку, поставил на стол рядом со свадебным меню, которое так и лежало там с ночи. Вера отрезала себе кусок нижнего яруса, с ягодами, и ела прямо руками, облизывая пальцы. Верхний ярус они не тронули. Безголовый жених стоял на нём рядом с невестой, в своём сахарном фраке, и держал её под руку, и вид у него был деловитый и ничего не подозревающий.

— Он мне нравится, — сказала Вера, разглядывая жениха. — Он как ты. Ему отрубили голову, а он стоит и держит меня. Ответственный.

— Спасибо.

— Это комплимент. Я его не дам есть. Я его засушу. Положу в альбом рядом с меню.

— Он сахарный. Его муравьи съедят.

— У нас нет муравьёв. У нас есть одиннадцать гадов, которые съедят любых муравьёв.

— Змеи не едят муравьёв.

— А я и не про змей. Я про тебя.

Он не понял, что она имела в виду, и Вера сама не смогла объяснить, и они опять смеялись.

Над холодильником шли мамины часы. Синяя жестяная птица прыгала по кругу, щёлк, щёлк, щёлк. Вера подняла на неё глаза и сказала:

— Доброе утро, птичка. У тебя будет... кто? Кто она маме будет? Внук — это маме. А часам кто?

— Часам — никто.

— Неправда. Часы — мамины. Значит, внук.

Глеб посмотрел на часы. На птицу. На облупленный клюв, который мама в детстве подкрашивала ему синим фломастером, чтобы не грустил. Он вдруг очень ясно представил, как мама сидела бы сейчас на третьем стуле, у окна, в своей синей кофте, и как она сказала бы:

«Ну наконец-то», — и как сразу начала бы спрашивать, хорошо ли Вера кушает, и не дует ли от окна, и куда они собираются девать змей, когда родится ребёнок.

— Мам, — сказал он часам, вполголоса, полушутя. — У тебя будет внук.

Птица прыгнула ещё на одно деление. Вера ничего не сказала. Она протянула руку через стол и накрыла его руку своей, и их кольца, как вчера в ресторане, тихо стукнулись.

Потом она посмотрела на него внимательнее и нахмурилась.

— Надень рубашку, — сказала она.

— Какую?

— Вчерашнюю. Белую. Ты в ней красивый. Я вчера тебя толком не рассмотрела, всё как в тумане было. Надень, я на тебя посмотрю.

— Вер. Она мягкая и пахнет рестораном.

— Ну и что. Я хочу на тебя смотреть в ней. Я в день, когда узнала, что беременная, хочу смотреть на своего мужа в свадебной рубашке. Это много?

Это было немного. Он сходил в спальню, взял со стула белую рубашку, надел, застегнул. Рубашка пахла вчерашним днём: Вериними духами, шампанским, сигаретой с балкона — он испугался, что Вера почувствует, но она не почувствовала или сделала вид. Он вышел на кухню, раскинув руки: вот.

Вера посмотрела на него долго, подперев подбородок, с ягодой за щекой.

— Красивый, — сказала она. — Не снимай сегодня. Ходи в ней. Я приеду — проверю.

— А змей мыть я тоже в ней буду?

— Тоже в ней. Закатай рукава. Ты инженер, придумаешь.

* * *

Без двадцати одиннадцать она уезжала.

Её родители ночевали у Вериней двоюродной сестры, на другом конце города. Самолёт на Мурманск был в час пятнадцать. Вера должна была их забрать, отвезти в аэропорт, который был за городом — час по мосту, если повезёт, и минут сорок по объездной, если повезёт ещё больше, — посадить, дожидаться, пока они пройдут контроль, а может, и вылета, потому что мама нервничает в аэропортах, и мама будет звонить из-за каждой рамки. Вернуться обещала к половине третьего.

Она оделась быстро, как одевалась всегда, когда опаздывала: тёмно-зелёный свитер крупной вязки, с высоким горлом, который она сама связала прошлой зимой и в котором была похожа на ёлку; джинсы с подвёрнутыми штанинами; жёлтый шарф, длинный, дважды обмотанный вокруг шеи. Волосы закрутила в узел и заколола той самой забытой шпилькой. Глеб смотрел на неё из коридора, привалившись к стене, в своей мягкой свадебной рубашке, и думал, что запомнит её такой: зелёный свитер, жёлтый шарф, узел на затылке, ключи в зубах, одна нога уже в ботинке, вторая ищет второй ботинок.

Ключи были её собственные — новая связка, которую он сделал ей неделю назад, торжественно, на кольцо с брелоком в виде скрипичного ключа. Два ключа от двух замков. До этого она два года ходила с его запасными и всё время теряла их в сумке.

— Всё, — сказала Вера, выпрямившись. — Я побежала. Тест на раковине лежит, не трогай его.

— Почему?

— Потому что я хочу, чтобы он там лежал. Пусть лежит. Я приду — посмотрю ещё раз. Вдруг там уже три.

— Три не бывает.

— Я учитель музыки. У меня бывает всё.

Она подошла к нему, встала на цыпочки и поцеловала. Долго, как не целуют, когда опаздывают в аэропорт. Потом отстранилась, положила ладонь ему на грудь, на свадебную рубашку, где-то против сердца, и сказала:

— Не делай глупостей с гадами.

— Я никогда не делаю глупостей с гадами.

— Глеб.

— Я их сегодня просто помою. Ядовитым — чистые домики, Андрею не стыдно отдавать. Всё по технике безопасности. Крюк, щипцы, перчатки. Три проверки.

— Знаю я твои три проверки. — Она прищурилась. — Посмотри на меня. Ты помнишь, кто ты теперь?

— Кто?

— Ты муж. И ты... — Она замялась, и щёки у неё порозовели. — Ты, кажется, папа. Так что ничего с тобой не должно случаться. Тебе теперь нельзя. Понял?

— Понял.

— Повтори.

— Мне теперь нельзя.

— Молодец. — Она чмокнула его ещё раз, коротко, в подбородок, и открыла дверь. На пороге обернулась. — Я тебе напишу, как довезу. Я в аэропорту буду на беззвучном, там мама каждые пять минут звонит, я с ума сойду. Если что — пиши, я прочитаю.

— Езжай. Опоздаешь.

— Люблю тебя.

— И я.

Дверь закрылась. Щёлкнул замок — нижний, она всегда закрывала только нижний, а он потом подходил и закрывал верхний. Глеб слышал, как она идёт по площадке, как гудит, поднимаясь, лифт, как она что-то говорит соседке — Зинаида Петровна, видимо, выползла на шум, она всегда выползала, — и как они смеются вдвоём, Вера громко, а Зинаида Петровна дребезжаще, не расслышав, но на всякий случай. Потом дверь лифта открылась и закрылась, и стало тихо.

Он подошёл к двери и повернул верхний замок. Два оборота.

* * *

Он остался один.

Квартира вдруг стала очень большой и очень тихой. Батареи гудели. За окном гудел мост. В змеиной комнате тикали термостаты. Глеб постоял в коридоре, потом прошёл в ванную, просто посмотреть. Тест лежал на краю раковины, на сложенном бумажном полотенце, рядом с Вериной зубной щёткой, розовой, с обгрызенной щетиной. Две полоски. Он не стал его трогать. Посмотрел и вышел.

Потом вернулся и посмотрел ещё раз.

Потом пошёл на кухню, вымыл чашки, вытер стол, отодвинув меню, убрал торт в холодильник. Когда ставил коробку на верхнюю полку, увидел внизу, на самой нижней, жёлтую картонную коробку из-под сливочного масла, в которой лежали ампулы. Надо будет отдать Андрею вместе со змеями. Им без надобности, а ему пригодится. Он подумал об этом мимоходом и закрыл дверцу.

Он ходил по квартире, и квартира менялась у него на глазах.

Вот спальня. Здесь, наверное, будет кровать — у окна? Нет, у окна дует, и свет с моста по ночам. У стены, где сейчас комод. Комод можно в коридор. Вот кухня — здесь мало места, но высокий стульчик встанет у батареи, там тепло. Он стоял посреди коридора и прикидывал,

как прикидывал нагрузку: тут сто двадцать сантиметров, там девяносто. А потом он подошёл к змеиной комнате и остановился на пороге.

Двенадцать лет. Двенадцать лет эта комната была его. Он строил стеллажи сам, своими руками, по своим чертежам, с расчётом на вес стекла, воды и грунта. Сам тянул проводку к каждому ящику. Сам паял термостаты, когда покупные начали глючить. Это была лучшая комната в квартире — светлая, тёплая, с окном на юг. Она пахла сухим деревом, кокосовой стружкой и тем особым змеиным запахом, который чужие называют вонью, а он — домом.

Детской здесь будет лучше всего. Он понял это сразу, с первой секунды, едва посмотрел. Светлая, тёплая, с окном на юг. Отсюда видно небо, а не мост.

Значит, змеиная комната кончается. Ядовитых он отдаёт завтра — это решено давно. А остальных? Полозов можно поставить в коридоре, на один стеллаж, если уплотнить. Боря влезет. Сметану... Сметану Вера не отдаст, Сметана её. Остальных — раздать. Андрей возьмёт. Клуб возьмёт.

Ему стало грустно. Совсем немного — так, как бывает грустно, когда заканчивается очень длинный и очень хороший объект: построили, сдали, разъехались, а ты стоишь на пустом мосту, по которому завтра пойдут машины, и вроде бы радоваться надо, а внутри тянет. Немного грустно — и очень, очень хорошо. Хорошо до того, что хотелось позвонить кому-нибудь и рассказать. Лёве. Он достал телефон, начал набирать — и остановился. Вера должна рассказать сама. Это её. Лёва подождёт.

Он вместо этого написал Андрею: «Ты как? Завтра в 12 в силе?» Сообщение ушло, одна галочка. Андрей не прочитал. Андрей, наверное, был на выставке в Казани, у стенда, со своими гекконами.

Глеб закатал рукава свадебной рубашки до локтя, как велела Вера, и начал работать.

Работа была привычная, он делал её сто раз. Сначала террариумы ядовитых: завтра Андрей заберёт их вместе с ящиками, и ящики должны быть чистыми. Не потому что Андрей придирчивый — Андрей как раз не придирчивый, — а потому что так правильно. Отдаёшь змею — отдаёшь чистый дом. Глеб считал, что это примерно как сдавать мост: подмети за собой.

С коброй и гадюкой было просто: у них ящики большие, с отдельными укрытиями-шлюзами, змею загоняешь крюком в укрытие, закрываешь задвижку и моешь, не вынимая. Он вымыл гадюку, потом кобру. Кобра встала, распустив капюшон, и смотрела на него сквозь стекло шлюза, качаясь, и монокль на её капюшоне смотрел вместе с ней. Он сказал ей: «Ну, ну, интеллигентная», — и она медленно опустилась. Глеб закрыл ящик на оба замка, проверил защёлки, подёргал, проверил ещё раз. Три проверки.

С аспидом было сложнее. У аспиды ящик старый и маленький, без шлюза, его Глеб всё собирался переделать и так и не переделал. Аспиды надо было вынимать. И Сметану заодно — её ящик стоял вплотную, на одной полке, и у неё тоже было пора менять субстрат. Двух зайцев.

Он принёс из кладовки пластиковый контейнер. Прозрачный, литров на сорок, с крышкой на защёлках и перегородкой из оргстекла посередине, чтобы сажать двух змей сразу. Перегородка была старая, с трещиной в углу. Пару лет назад он уронил контейнер на кафель, и один паз разболтался, перегородка в нём ходила, если надавить. Глеб посмотрел на неё, потрогал пальцем. Перегородка качнулась.

Новую он собирался заказать, когда подвернётся. Не подвернулось.

Двадцать минут, подумал он. Я помою два ящика и посажу их обратно. Ничего за двадцать минут не будет. Змеи сейчас вялые, утро, прохладно. Они лягут каждая в своём углу и будут спать.

На двадцать минут сойдёт.

Он отнёс контейнер на кухню и поставил на пол у батареи. Там было теплее всего — горячая батарея дышала, как печка, и змеям будет хорошо, первый раз за неделю по-настоя-

щему тепло. Потом он вернулся в змеиную комнату, взял крюк, открыл ящик аспида и стал копать в субстрате.

Аспид вылез не сразу. Он зарылся глубоко, и Глеб долго водил крюком, пока не подцепил. Аспид повис на крюке — маленький, сантиметров семьдесят, тонкий, яркий, как ёлочная игрушка: красное, жёлтое, чёрное, жёлтое, красное. Голова тупая и чёрная, сразу за ней жёлтый воротник. Он не шипел, не бился. Просто висел и медленно поворачивал голову, пробуя воздух.

— Тихо, тихо, — сказал Глеб. — Последний переезд. Завтра у тебя новый хозяин. Он хороший. Он тебе даст ящик со шлюзом.

Он отнёс его на крюке на кухню и опустил в левый отсек контейнера. Аспид сразу уполз в угол и затих. Глеб вернулся за Сметаной. Сметана, наоборот, высунулась сама, как только он открыл ящик, любопытная, ласковая, как всегда, и сама полезла на крюк, и он перенёс её в правый отсек. Сметана тут же подползла к перегородке и стала тыкаться в неё носом, пытаясь пролезть к соседу.

— Дурочка, — сказал Глеб Вериним голосом. — Тебе туда не надо.

Он закрыл контейнер крышкой. Не на защёлки — так, просто положил сверху: он же сейчас вернётся. Снял с холодильника белый Верин таймер, выставил двадцать минут, нажал. Взял из змеиной комнаты оба пустых ящика, один за другим, и отнёс в ванную, в ванну.

Мыл он под горячей водой, с хлоргексидином, щёткой. Свадебная рубашка намокла на животе, рукава сползли, он закатывал их локтями. Тест лежал на раковине, в метре от него, и он то и дело косился на него — проверить. Один раз брызги долетели до полотенца, на котором лежал тест, и он испугался, вытер руки, осторожно отодвинул тест подальше, к самой стене, за Верину щётку. Две полоски. Не исчезли.

Он мыл и думал о кровати. Думал о том, что надо будет научиться менять подгузники, — Лёва говорил, что это как разминировать бомбу, только бомба орёт. Думал о том, что если мальчик — то, может быть, назвать в честь отца, а если девочка — Вера наверняка уже выбрала имя и ему не скажет. Думал о том, что надо бы позвонить тёте Гале и сказать... нет, сначала Вера. Всё сначала Вера.

На холодильнике пискнул таймер.

Он слышал его из ванной — короткое, тонкое «пи-пи-пи», а потом тишина. Двадцать минут. Ящики были вымыты почти полностью, оставалось только протереть насухо и засыпать новый субстрат. Глеб выпрямился, вытер руки о брюки и пошёл на кухню.

Кухня была залита светом. Солнце пробилось сквозь облака и легло на пол, на линолеум, на контейнер у батареи. Машины часы над холодильником показывали двенадцать тринадцать. Птица прыгала.

На столе завибрировал телефон.

Глеб подошёл, взял его. Сообщение от Веры. Фотография: аэропорт, большой светлый зал, табло, стойка регистрации, очередь с чемоданами. На переднем плане её родители. Нина Сергеевна в своём выходном пальто, улыбается, глаза красные, машет рукой — то ли в камеру, то ли кому-то за камерой. Павел Андреевич стоит рядом, огромный, серьёзный, с двумя чемоданами, и смотрит прямо в объектив, как смотрел, наверное, когда-то на шторм.

Под фотографией подпись:

«Скоро буду. Люблю вас обоих».

Обоих.

Глеб стоял посреди кухни, залитой солнцем, в мокрой свадебной рубашке, и читал эти четыре слова снова и снова. Обоих. Тебя — и того, кто размером с маковое зёрнышко. Она написала это так, будто это самое обычное слово на свете. Будто они уже трое. Будто так было всегда.

Он нажал на сообщение и поставил сердечко. Красное. Оно появилось в углу фотографии, рядом с Павлом Андреевичем, как маленький значок на лацкане.

«Скоро» у Веры могло значить что угодно, от десяти минут до трёх часов. Он улыбнулся и положил телефон на стол, экраном вверх, рядом со свадебным меню.

Батарея за спиной щёлкнула. С моста долетел гудок. За стеной сосед снова начал сверлить. Птица на часах сделала шаг.

Глеб повернулся к контейнеру.

Он присел на корточки и тут же опустился на колени — так было удобнее. Посмотрел через прозрачную крышку. Перегородка стояла косо. Обе змеи лежали в левом отсеке, переплетясь, одним цветным клубком, красное, чёрное, жёлтое, кольца поверх колец.

Он вздохнул — коротко, раздражённо, как вздыхает человек, у которого и так полно дел. Снял крышку. Крюк лежал на подоконнике, в двух шагах.

Ближняя к нему змея лежала у самой стенки. Он видел её голову.

Он протянул руку.

Часть вторая. Сорок минут

Глава 3. Стишок

40:00.

Нет. Ещё раз. С самого начала, медленно, потому что надо понять, а понять не получается.

Рука тянется к контейнеру. Ближняя змея у стенки, голова видна. Чешуя под пальцами тёплая, сухая, гладкая. Тепло — от батареи. Он успевает подумать: им хорошо, первый раз за неделю. Это последняя мысль, которая была до. Он её помнит дословно, как помнят номер телефона, который уже не нужен.

Под пальцами шевелится. Не та, которую он трогает, — под ней. Что-то поворачивается в клубке, мягко, лениво. Щипок.

Не больно. Вот что не укладывается. Должно быть больно. Когда кусает Боря, это больно: десятки загнутых зубов, хватка, рывок. Когда цапнула однажды молодая гадюка, ещё до Веры, руку дёрнуло до плеча, как током. А это — ничего. Как будто кто-то тронул ногтем. Как комар.

Он отдёрнул руку. Он смотрит на неё. Рука как рука. Кольцо. Костяшки. Вены.

Может, не укусила. Может, задела. Чешуйей. Зубами по касательной. Бывает.

39:41.

Он сидит на полу. Таймер в правой руке, белый, круглый, тёплый от его ладони. Цифры меняются. Он смотрит, как меняются цифры, и не может перестать смотреть: тридцать девять сорок, тридцать девять тридцать девять. Каждая секунда отщёлкивает маленький кусочек экрана.

Он кладёт таймер на пол. Цифрами вверх.

Змеи в контейнере расплелись. Лежат в левом отсеке, обе, рядом, каждая сама по себе. Одна у стенки, вытянувшись. Вторая свернулась кольцом у перегородки. Обе пробуют воздух. Обе спокойны. Сытые, тёплые, им хорошо.

Две одинаковые змеи.

Глеб подаётся вперёд. Лицо над открытым контейнером, в тридцати сантиметрах. Он понимает, что это глупо, что так нельзя, что он сам в клубе орал на новичков за такое. Он не отодвигается. Ему надо видеть.

Красное. Чёрное. Жёлтое.

Он знает, как отличать. Он знал это двенадцать лет. Он рассказывал это вчера гостям, через стол, Вера подняла палец: «Вот». Там стишок. Его стишок, он сам его придумал, в восемнадцать лет, когда купил первую молочную и боялся перепутать с чем-нибудь в магазине. Две короткие строчки. Он их знает.

Красный с жёлтым...

Красный с жёлтым — яд...

Красный с жёлтым — друг... нет. Яд. Яд в руке.

Нет. Яд в кольце. Друг в руке. Или друг в кольце?

Кольце. Кольцо. Почему кольцо.

Слова рассыпаются, как бусы с порванной нитки. Он ловит одну, а остальные скачут по полу, под батареею, под холодильник. Красный с чёрным. Красный с жёлтым. Какой из них яд? Какой — друг? Он знал это лучше своего телефона. Он знал это лучше, чем своё отчество. Это должно быть мгновенно, как таблица умножения, как «дважды два». А это не мгновенно. В голове вместо стишка — белый шум и слово «кольцо», которое зачем-то лезет во все строчки сразу.

Яд в руке. Яд в кольце. Яд в руке.

Во рту сухо. Язык прилип к нёбу. Он сглатывает, и глотать нечего.

Ладно. Неважно стишок. Глазами. Глаза не врут. Смотреть, где красное соседствует с жёлтым. Просто смотреть.

Он смотрит на ближнюю. Красное кольцо. За ним... жёлтое? Или чёрное? Там узкая полоска, она в тени от перегородки, она тёмная. Может, чёрная. Может, жёлтая в тени. У Сметаны жёлтые кольца не жёлтые — они бледно-оранжевые, сливочные, Вера потому и назвала её Сметаной. У аспиды жёлтые — ярко-жёлтые, лимонные. Это он знает. Это он видел тысячу раз при дневном свете.

При дневном. А сейчас солнце ушло за облако, и на кухне серый полумрак, и в этом сером всё одинаковое: красное как бурое, жёлтое как грязное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.